



## РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-345-360

### КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ И ПРОБЕЛЫ ИСТОРИИ ЭМОЦИЙ\*

Рецензия на книгу: Плампер Я. История эмоций /  
Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое  
литературное обозрение, 2018. 568 с.

*«Эмотив — выражение эмоции (как правило, словесное), которое и описывает ее (например, «я счастлив»), и кладет начало ее изменению, так как запускает процесс самоанализа, исход которого не предопределен (например, ведет к вопросу: «Я действительно счастлив?»)..., или переписывает сопричастующие эмоциональные состояния, усиливая переживания счастья). ...Срабатывает ли один и тот же механизм обратной связи, когда я говорю слова „я счастлив“ в присутствии моего психотерапевта, которой я плачу деньги за то, чтобы она помогла мне в моих поисках счастья, или когда я в разговоре с матерью, пытающейся мне доказать, что я несчастлив в браке, упрямо отвечаю: „я счастлив“?».*

Ян Плампер

XX век — поразительное время для самопознания человека и общества благодаря «лингвистическому повороту», или трактовке фактов как «репрезентаций» дискурсивных механизмов [4. С. 37], а человеческой жизни как «автолингвистического феномена» [13], «нарративному повороту», или акценту на «литературности» любых текстов, который сблизил все формы знания (научное и обыденное), обнаружив в них общее нарративное измерение [5. С. 69—70] вследствие включенности любого «говорящего» (независимо от его социального и дискурсивного статуса) в конструирование реальности, а также «визуальному повороту», или признанию за визуальной составляющей жизни права выступать «маркером» устойчивых и формирующихся социальных практик по причине вездесущности изображений и «установления между человеком и миром отношений „хронического вуайеризма“» [7]. Нарративный и визуальный повороты дополнили

\* © Троцук И.В., 2018.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 18-011-00993 «Счастье как междисциплинарный конструкт: варианты социологической концептуализации и операционализации».

и расширили сферу действия лингвистического поворота, который объявил исследования в области политических, экономических, психологических и культурных проблем языковыми, поскольку все социальные практики конституируются борьбой дискурсов, претендующих на право единовластно «определять ситуацию» и задавать «основную модальность событийности» [1. С. 101]. Все три поворота в той или иной степени «легализованы» в социологии [см., напр.: 11], и основные проблемы эмпирических исследований текстуальности в ее вербальных и визуальных выражениях сводятся к нахождению надежных эмпирических индикаторов в зыбком поле многослойных «текстов» и баланса между отвлеченным философствованием и собранными данными.

Иное принципиальное изменение научной «оптики» и «риторики» — «аффективный поворот» — существенно реже упоминается в социологической литературе, хотя оказывает на нашу дисциплину серьезное влияние. Его ярчайшее проявление — постоянные и повсеместные замеры уровня счастья и попытки научить отдельного человека или человечество в целом быть счастливым. В Интернете можно найти массу мотивирующих семинаров, тренингов, мастер-классов и пр., «заряжающих на счастье», по запросу «happiness» сайт amazon.com выдает более 100 тысяч книг, и 20 тысяч из них входят в категорию «self-help» (пособия по самообретению счастья), аналогичный запрос — «счастье» — в российском книжном магазине Лабиринт.ру выдает 1710 книг (из них около тысячи в разделе «нехудожественная литература»). Существуют специализированные издания, например, *Journal of Happiness Studies* («Журнал исследований счастья»), который «посвящен научному пониманию субъективного благополучия — его когнитивных оценок (удовлетворенность жизнью) и аффективного удовольствия от жизни (настроение)... и представляет возможность обсудить две основные традиции в изучении счастья — концептуализации „хорошей жизни“ и эмпирический анализ субъективного благополучия»<sup>1</sup> [см., напр.: 14]. С 2012 года ООН утвержден Международный день счастья — 20 марта<sup>2</sup>, когда публикуется отчет об уровне счастья в мире<sup>3</sup> — он оценивается по таким показателям, как ВВП на душу населения и социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость, отношение к коррупции и др.

Помимо перечисленных косвенных показателей основную часть оценки уровня счастья составляют результаты опросов общественного мнения о том, насколько счастливыми люди себя чувствуют (их проводит Международный исследовательский центр Гэллага — Gallup International), — на их основе рассчитывается международный индекс счастья и его страновые колебания. Уровень счастья — не частый, но все же широко представленный сюжет и в российских опросах общественного мнения. Например, агентство NewsEffector совместно с фондом «Регионы России» регулярно проводит исследование «Индекс счастья

---

<sup>1</sup> <https://link.springer.com/journal/10902>.

<sup>2</sup> <https://happinessday.org>.

<sup>3</sup> <http://worldhappiness.report>.

российских городов», чтобы выяснить, где проживают самые счастливые россияне (опрос проводится в ста крупнейших городах)<sup>4</sup>: задаются вопросы об уровне материального благосостояния, оценках экологической ситуации, уровня безопасности и перемен к лучшему, самоощущении счастливым или нет. Крупнейшие российские социологические центры периодически проводят замеры счастья [см., напр.: 6; 8; 9]. ВЦИОМ регулярно представляет данные мониторинга счастья россиян, оценивая общий уровень/индекс счастья (и «социальный индекс счастья» — преобладание в окружении респондентов счастливых или несчастливых людей [10]) и обозначая основные причины быть счастливым (семья, дети, хорошая работа, здоровье, общая удовлетворенность жизнью) и несчастным [12].

Если просмотреть результаты общероссийских опросов по тематике счастья за последние несколько лет, то даже самый социологически неискушенный читатель удивится разбросу количественных оценок «счастливости» своих сограждан, а также факторов, на нее влияющих. Более того, у него возникнет вопрос, почему социологи измеряют индекс счастья, а не печали, разочарований или других негативных эмоций, которые скрываются за антитезой счастья (несчастье), но ей не синонимичны. Все это приводит к вопросу о том, а что собственно измеряется в рейтингах ООН (объективные социально-экономические критерии) и социологических опросах (субъективные оценки) под названием «счастья», и почему мы уверены, что этот набор показателей (социально одобряемых и институционально табулированных) позволяет оценить сложное эмоциональное состояние отдельного человека, которое он вынужден укладывать в социальное клише нормальной и нормированной счастливости.

В отличие от лингвистического, нарративного и визуального поворотов, аффективный поворот все еще недостаточно встроен в концептуальные построения социологии. Нам следует обратиться к смежным дисциплинарным полям для прояснения оснований собственной работы с эмоциональными аспектами социальной жизни: «все общества имеют свои эмоциональные стандарты [предписываемые человеку нормы реакции], пусть часто они не становятся предметом обсуждения... Эмоциональные стандарты постоянно меняются во времени, а не только различаются между собой в пространстве. Изменения в эмоциональных стандартах многое говорят и о других социальных изменениях, а могут и способствовать им» [2. С. 15]. Книга Яна Плампера «История эмоций» — идеальная для решения этой задачи работа: во-первых, проблематика счастья встроена в текст в виде прямых отсылок (например, когда иллюстрирует понятие эмоции — выражение эмоции, которое и описывает ее, и запускает процесс ее изменения, потому что любой вопрос о том, насколько человек счастлив и счастлив ли он вообще, заставляет его задуматься о возможности охарактеризовать себя подобным образом, о критериях такой оценки, о долговечности счастья и пр.) и имплицитно — когда счастье оказывается лучшей иллюстрацией тех или иных понятий или проблем. Так, сегодня счастье — явно «гиперкогнитивное понятие» (Роберт Леви), поскольку в современной культуре ему отдается приоритет; счастье

<sup>4</sup> <http://jpsy.ru/public/75563.htm>.

неизменно входит в список базовых эмоций (Сильван Томкинс и Пол Экман), которые считаются универсальным для всех культур и связаны с характерными микровыражениями лица; до сих пор не прекращаются дискуссии о том, что именно считать счастьем — сильнейший аффект или, наоборот, состояние ничем не омраченного спокойствия, и т.д. Во-вторых, книга построена вокруг важного и для социологии «спора между социально-конструктивистскими и универсалистскими теориями. Этот спор структурировал исследовательскую практику в разных областях изучения чувств на протяжении более ста лет: социальные конструктивисты полагают, что эмоции являются преимущественно результатом научения, культурно специфичны и подвержены историческим изменениям (видимо, отсюда — нынешний бум на научение счастьем), а универсалисты настаивают, что эмоции одинаковы во всех культурах и во все времена (видимо, отсюда — мода на эксперименты в русле аффективной нейронауки). Автор «историзирует и проблематизирует эту бинарную оппозицию, указывая на возможности изучения эмоций за пределами конструктивизма и универсализма» (с. 4).

Книга Яна Плампера — поразительно увлекательная история (правда, для подготовленного читателя, который владеет соответствующей терминологией), скроенная по лекалам идеального научного текста: за развернутым и структурированным (!) введением, объясняющим замысел книги, дающим определение ее основного понятия (эмоция) и обосновывающим возможность научного изучения эмоций в рамках самостоятельной исторической дисциплины, следует хронологический обзор развития этой науки — истории эмоций, затем дается развернутая характеристика двух ее основных концептуальных направлений — социального конструктивизма, зародившегося в антропологии, и универсализма, поддерживаемого «науками о жизни», после чего автор оценивает перспективы истории эмоций в случае преодоления дихотомии этих двух подходов. Текст гипернасыщен персоналиями — с указанием ключевых работ, обзором концепций, перечислением предшественников и последователей, уточнением влияния на соответствующие научные традиции и важнейшими цитатами, соблюдает исключительный «нейтралитет» в презентации любых концепций (ее краткое изложение неизменно сопровождается систематизацией справедливой и необоснованной критики), сопровождается огромным библиографическим списком (он активно используется, текст буквально испещрен сносками с комментариями автора), иллюстрациями (включая интересные медийные и политические факты и фотографии) и глоссарием, суммирующим категориальный аппарат научного анализа эмоций, категорически отказывается от дисциплинарной «селекции» в отборе упоминаемых работ и авторов — их интересы и поле деятельности обязательно упоминаются, но акцент сделан на вкладе в историю эмоций (например, описание декартовой теории дуализмов сопровождается указанием на ее «практическое» применение придворным живописцем короля Людовика XIV Шарлем Лебреном, создавшим анатомические зарисовки эмоций — классификацию выражений лица при различных эмоциях).

Интерес к истории эмоций возник у автора в ходе исследования страха у русских солдат в годы Первой мировой войны. Узнав из литературы по нейро-

науке о том, что «миндалевидное тело — обитель страха» (с. 6) и погрузившись в соответствующую проблематику (экспериментальные исследования нейрональных процессов, вызываемых угрозой, в 1930-е годы, компьютерные технологии визуализации отрицательных эмоций в 1980-е годы, данные о функциях головного мозга, включая эмоции, за которые отвечают конгломераты нервных клеток и т.д.), автор столкнулся с тем, что «антропологические константы облекаются в нейробиологическую терминологию. Связано это с идеей, что существует некая нейробиологическая материальная основа всего и всякого страха, которая не зависит от времени и культуры, она одна и та же у всех животных — от лабораторных мышей до человека разумного... Это один из полюсов, наблюдаемых во всех исследованиях эмоций с XIX века: это нечто жесткое, неизменное, универсальное, общее для всех видов, вневременное, биологическое, физиологическое, сущностное, базовое, „зашитое в систему“» (с. 8). С другой стороны, концепцию универсализма страха подрывают этнологические исследования, убедительно показывающие, что в разных культурах люди обращаются со страхом по-разному — это «второй полюс всех исследований чувств: мягкий, антиэссенциалистский, антидетерминистский, социально-конструктивистский, культурно-релятивистский, ориентированный на культурную специфичность и культурную контингентность. Между двумя этими полюсами и бытует научный дискурс об эмоциях с середины XIX века, если не раньше» (с. 11). «В ходе работы над исследованием по истории солдатского страха стали накапливаться концептуальные проблемы», и не автор «решил написать книгу, а она решила, что он должен написать ее» (с. 490).

Проблему автор видит не в самом наличии двух разных точек зрения (кстати, их популяризация сегодня дает человеку больше возможностей для самоуспокоения, потому что свои беды он может объяснять то физиологическими особенностями организма в русле универсалистской модели наук о жизни, то спецификой своей социализации, т.е. огрехами в социальном научении, и в обоих случаях с себя вину он снимает будучи игрушкой объективных сил — природы или общества), а в том, что два полюса используют разную терминологию, непонятно, как соотносятся друг с другом, и недостаточно хорошо картированы, но вокруг тех, кто считает эмоции врожденными (исторически меняются не сами эмоции, а только способы их выражения), и тех, кто рассматривают их как социальные конструкты (у каждой эмоции есть своя история или же все эмоции — константы, но антропологические), формируются ожесточенно враждующие лагеря в духе «другой дихотомической фигуры мысли — природа vs. культура», которая оформилась в эпоху Просвещения. Автор не претендует на то, что снимет эту дихотомию и создаст синтетическую теорию эмоций, а предлагает представить, как может выглядеть исследование эмоций после устранения дихотомии с помощью историографического обзора истории эмоций («резюмировать и классифицировать, развенчивать мифы об этой молодой области исследований и часто и много цитировать») и нейтральности в изложении материала (своеобразный ликбез по грамотному заимствованию из нейронаук в социально-гуманитарные дисциплины). Автор намечает контуры «метаистории эмоций» (истории «человека чувствующего»), обозначая смену господствующих дисциплин в трактовке эмоций,

некорректность противопоставления «западной» и «незападной» рефлексий эмоций, необходимость разбирать все многообразие терминов из разных дисциплин, эпох и культур как одно понятие «эмоция» (многие слова этимологически связаны, их различия и сходства аналитически важны, но укладываются в метапонятие «эмоция», которое поглотило ряд дифференцированных значений, которые прежде передавались разными понятиями), неопределенность субъекта эмоций (все люди в равной или в разной степени, различие между человеком и животным с точки зрения способности чувствовать, проблема человекоподобных машин — живут ли они собственной эмоциональной жизнью и может ли человек испытывать чувства к ним), которая порождает вопрос, какой уровень эмоциональности является мерилем человечности (эмпатия по отношению только к другим людям, ко всем живым существам или ко всему, включая неживые человекоподобные объекты), и неопределенность локализации эмоций (вне или внутри человека, неоднозначная семантика телесного выражения эмоций в разных культурах).

Первая глава «прослеживает историю изучения чувств в хронологическом порядке, начиная с возникновения истории эмоций в конце XIX века, и ее развитие помещается в контекст социальных и политических событий, а также в контекст развития других научных дисциплин, которые оказали на нее влияние» (с. 16). Признавая важность вклада Люсьена Февра и школы «Анналов» в историю эмоций, поскольку «они перенесли историю из сферы высокой политики, королей и дипломатии вниз, в мир маленьких людей, крестьян и ремесленников, как бы заземлили историю» (с. 65), а Февр призвал «поставить эмоции в центр исторического исследования и преодолеть застенчивую отстраненность от психологии при изучении чувств в прошлом» (с. 66), очертил контуры областей, которые впоследствии составили значительную часть истории эмоций, обратил внимание на трудность разграничения чувств (возникают одновременно), их амбивалентность и многослойность, автор отмечает, что Февр находился под влиянием работ французских этнологов и психологов 1920—1930-х годов и обратился к истории чувств (преимущественно отрицательных — ненависти, страха и жестокости) под влиянием «угрозы со стороны европейского фашизма и способности национал-социализма к эмоциональному совращению людей» (с. 69). Автор предлагает читателю историю эмоций до Февра: в Античности историки Фукидид и Полибий «рассматривали власть чувств в качестве главной движущей силы событий» (особенно когда речь шла о чувствах царей или коллективных субъектов), в конце XIX века дискуссия о роли чувств развернулась в истории на фоне дифференциации наук под определяющим воздействием естествознания — Вильгельм Дильтей разрабатывал теоретическую базу наук о духе в форме исторической герменевтики, Карл Лампрехт выступал за заимствования из психологии и этнологии для обогащения исторического объяснения «внутренней мотивацией личных поступков» (с. 74), Георг Штайнгаузен и Курт Брейзиг считали единицей анализа и коллективным субъектом эмоций нацию. «От этих четверых авторов идут некоторые линии к тем ведущим мыслителям начала XX века, которые оказали влияние и на историю эмоций», в частности, «великие теории

Маркса, Вебера, Дюркгейма и Зиммеля всегда подразумевают „большие нарративы“ об историческом развитии эмоций» (хотя социологи обычно игнорируют этот аспект их моделей социальности). Так, Георг Зиммель считал социальные процессы и отношения, конституирующие общности, имеющими эмоциональную окраску, потому что «чувства производят эффект социации», а «Макс Вебер выстроил типологию разновидностей протестантизма как бы по шкале термометра эмоциональности» (с. 75) и т.д.

Самый объемный раздел первой главы посвящен истории эмоций во времена Февра и после него. Основное действующее лицо этого временного промежутка — Ноберт Элиас, под явным влиянием Фрейда разработавший теорию европейского модерна как «линейного процесса нарастания контроля над аффектами... на эмоции, который средневековый человек мог свободно выражать, при переходе к современной эпохе были наложены социальные табу. Эти табу были интериоризированы, и внешнее принуждение превратилось в самопринуждение» (с. 81) со всеми вытекающими отсюда психическими деформациями. Элиас «застолбил будущее научное поле для истории эмоций: именно он ввел понятия для описания эмоциональной действительности, расшатывавшие эссенциалистское представление о чувствах, а также понятия, которые языковыми средствами отражают процессуальный характер и конструирование эмоций» (с. 82). Его концепция сочетала элементы эссенциализма и социального конструктивизма, предвосхитив тем самым синтетические концепции 1990-х годов, согласно которым эмоции имеют универсальную телесную основу, но культурно и исторически обусловлены. Теодор Зелдин рассматривал сквозь призму истории эмоций частную и общественную жизнь, не доверяя господствовавшей в 1970-е годы социальной истории, которая искала строгую причинность и оперировала количественными данными. Он «одним из первых стал рассматривать самих историков как субъектов, чья деятельность тоже определяется эмоциями и чье отношение к предмету исследования эмоционально нагружено; более того, они выбирают себе предмет на основе эмоциональных установок» (с. 86). В этом разделе также рассмотрены аргументы и критика психоистории, основанной на толковании эмоций — подчеркивая неприемлемость анахронизмов (типа признания политики Сталина результатом его побоев отцом-алкоголиком в детстве), автор не отказывается от «осмысленного использования психоанализа в истории чувств там, где сами исторические субъекты говорят на его языке» (с. 88); обращение к истории эмоций германских и американских исследователей истории семьи, чтобы концептуально объединить чувство и целерациональность; игнорирование гендерной историей эмоций как самостоятельного предмета исследований (изучалась инструментализация чувств в целях поддержания прежних и конструирования новых видов гендерного неравенства), хотя автор неоднократно подчеркивает вклад женского движения 1970-х годов в повышение статуса эмоций; теория Питера и Кэрол Стернсов, которые «предложили четко отделять индивидуальный эмоциональный опыт человека от эмоциональных норм и изучать в первую очередь именно их... — правила, которыми регулировалось выражение чувств в обществе или в составляющих его социальных группах» (с. 93) и т.д.

Помимо реконструкции логики развития научного осмысления эмоций автор отмечает и объективные обстоятельства, которые способствовали нынешнему глобальному буму исторического изучения эмоций. Главное событие здесь — теракт 11 сентября 2001 года: первоначально он рассматривался как «драматическое свидетельство того, какой силой являются негативные эмоции фанатиков» (с. 97), но затем акцент был сделан на эмоционально насыщенной коммуникации, которая стала возможна благодаря электронным медиа и оказалась одинаково важной для представителей всех демографических и социальных групп. В научной области это событие имело несколько важных последствий (с. 99—100): «поставило под сомнение аналитический инструментарий постструктуралистской исторической науки (ускорился уже наметившийся отход от лингвистического поворота) и способствовало дальнейшему подъему наук о жизни», «ускорило начавшуюся еще во второй половине 1990-х годов биологическую революцию, ...и разговор о „вечных“ вопросах человечества — о свободе воли, о „я“, а также о чувствах — стал теперь вестись не там, где прежде, в гуманитарных науках, а в новом поле биологически ориентированных естественных наук, объединенных общим названием „науки о жизни“».

Завершает первую главу раздел, объясняющий, почему роль авангарда в истории эмоций играет медиевистика, в частности, теория «эмоциональных сообществ» Барбары Розенвейн, которая стала результатом ее критики «гидравлической модели» эмоций Хейзинги и Элиаса: они трактуют эмоции универсально — как находящиеся под поверхностью тела и становящиеся видимыми разными способами (соматически, через вербальные и невербальные знаки, в форме искусства и т.д.), но эта концепция была опровергнута когнитивной психологией в 1960-е годы (модель рациональных когнитивных процессов в мозгу) и социальным конструктивизмом в антропологии в 1970-е годы (эмоциям было отказано в универсальности). Розенвейн заменяет «большой нарратив» о нарастающем контроле эмоций теорией «эмоциональных сообществ», которые объединяют определенные системы чувств, модусы выражения эмоций и характер аффективных связей между членами (на основе личных контактов или посредством средств коммуникации), поэтому «вокруг какой-то одной эмоции сообщество образоваться не может — только вокруг нескольких» (с. 113). «Концепция эмоциональных сообществ — один из наиболее привлекательных подходов, нацеленных на изучение способов формирования и воспроизводства устойчивых эмоциональных связей в группах; она позволяет избежать ловушки индивидуальности каждого случая, ...ловушки агрегации... и не грешит ошибочным отождествлением норм, отраженных в советах по этике, с эмоциональными нормами вообще» (с. 115). Впрочем, автор приводит общую критику концепции Розенвейн (вместе с ее контраргументами) и собственные замечания, в частности, о проницаемости и недолговечности границ эмоциональных сообществ, которые ставят под сомнение необходимость самого данного понятия.

Далее будут перечислены содержательные акценты остальных трех глав книги, поскольку любые попытки суммировать их, как показывает обзор первой

главы, неоправданно увеличивают объем рецензии и превращают ее в конспект лекций по истории эмоций. Вторая глава представляет читателю «социально-конструктивистский полюс в дискуссии об эмоциях, а также о науке, которая более, чем любая другая, способствовала осознанию того, что в разных культурах о чувствах говорят по-разному (этнология/антропология)» (с. 16). Глава начинается с утверждения, что чувствовать можно по-разному, чему даются различные подтверждения, в том числе из записок путешественников и ранней этнологической литературы: скажем, медиализация субъективных страданий от уныния и упадка сил в западной культуре легитимировала понятие депрессии как нормального состояния, а в буддийской онтологии такое нарушение эмоционального равновесия просто отсутствует. Эти и иные антропологические примеры «подрывают представление об универсальности человеческих чувств и показывают, что существует межкультурное многообразие эмоций и способов их проявления... различия обнаруживаются и при перемещении вдоль меридианов и параллелей, и при движении по оси времени через десятилетия и века (например, объекты страха претерпели огромные исторические перемены, сегодня, как в конце XIX — начале XX века, нет боязни быть похороненным заживо)» (с. 126).

Следующие два раздела посвящены эмоциям в трудах классиков антропологии, хотя высказывания о чувствах в них немногочисленны: это «коллективные представления» Эмиля Дюркгейма, т.е. трактовка эмоций как ритуализаций (так, «траур не есть спонтанное выражение чувств индивидов..., не естественное движение личной чувствительности, вызванное жестокой утратой: это обязанность, налагаемая группой» — с. 135—136); Клод Леви-Стросс, выступивший против «аффективной теории сакрального» с материалистической трактовкой эмоций в духе экспериментальной психологии (телесное выражение и есть эмоция); Бронислав Малиновский, заложивший традицию дневниковой саморефлексии антропологов; Рут Бенедикт, предложившая этнопсихологический групповой портрет нации и популяризовавшая различие между «культурами стыда» (японская) и «культурами вины» (американская); концепция идей и эмоций как «культурных артефактов» Хилдред и Клиффорда Гирц. Подробно автор останавливается на ранней антропологии эмоций в 1970-е годы: детально описано полевое исследование канадских инуитов Джин Бриггс (вся их жизнь подчинена правилу никогда не злиться и жестко контролировать эмоции) и ее первая антропологическая монография об эмоциях, доказывающая «культурную контингентность выражения чувств» (с. 156), а также исследование Роберта Леви на Таити, в котором эмоции также выступают скорее как универсальные, но каждый коллектив делит их на социально значимые и незначимые. Эти два исследования автор относит к досоциальноконструктивистским, потому что «основной вывод антропологии эмоций 1970-х годов можно сформулировать в одной фразе: эмоции в основе своей одинаковы, но выражаются по-разному в разных культурах» (с. 161).

Для перехода к собственно социальному конструктивизму автор описывает влияние лингвистического поворота на антропологию (в частности, на примере практики охоты за человеческими головами у илонготов) и цитирует манифест

социально-конструктивистского подхода, сформулированный Кэтрин Латц: «рассмотреть эмоции как идеологическую практику, а не как вещи, которые надо обнаружить, или как сущность, которую надо вычленишь», тогда «деконструкция и деэссенциализация позволяют увидеть в неискаженной форме местные эмоциональные конструкции». «...Эмоциональный опыт является не докультурным, а прежде всего культурным. Господствующее предположение, что эмоции одинаковы в разных культурах, заменяется вопросом о том, как один культурный дискурс об эмоциях можно переводить в другой» (с. 176).

Подчеркивая, что в книге названы лишь несколько представителей широкого социально-конструктивистского движения в антропологии, автор показывает, сколь подвижны были его границы вследствие определяющих его факторов (распространение постструктурализма из литературоведения в другие дисциплины, появление новых социальных движений, которые говорили о культурных универсалиях и равноценности всех культур, великолепная саморефлексия полевых антропологов) и сколь проблематичен социальный конструктивизм сам по себе, если довести его до логического завершения, т.е. до номиналистической неопределенности (ничто ни с чем несопоставимо и все культуры контингентны). Автор предлагает два экскурса — в социологию и лингвистику, чтобы показать продуктивные варианты использования социального конструктивизма. В социологии, «выработавшей самый чувствительный инструментарий для анализа социума», автор обнаруживает эмоции в трудах практически всех классиков, хотя расцвет социологии эмоций приходится только на 1970-е годы благодаря работам Арли Хохшильд (ввела понятие «эмоциональной работы» профессионала — приведение «истинных» чувств в соответствие с теми, которые требуются на практике, в случае неудачи наступает эмоциональный диссонанс, аналогичный когнитивному) и Евы Иллуз (проанализировала практики знакомства и построения отношений под влиянием коммерциализации любви, которая идет параллельно с ее идеализацией, — любовь превращается в «арену, на которой разыгрываются социальные различия и культурные противоречия капитализма» — с. 206). В лингвистике эмоций представлены концепции Анны Вежбицкой (оспаривает тезис психологов, что эмоциональные слова не обязательно связаны с чувствами и содержание некоторых базовых эмоций передается выражением лица, и утверждает существование общего для всех культур естественного семантического метаязыка для описания универсальных чувств), и Золтана Кевечеша, который утверждал, что лексическое значение слов не исчерпывает содержание эмоций, поэтому нужны метафоры. Для преодоления непродуктивной дихотомии социального конструктивизма и универсализма эти метафоры должны отражать универсальные моменты эмоций — их физиологическое измерение (скажем, телесные границы гнева), тем более что, как показали более поздние дискуссии о «качестве» человеческого тела (прибежище неизменной природы или телесная «составляющая» эмоций), сегодня «культура вписывает себя в тело разнообразными способами» (с. 224).

Автор верен себе и неизменно подчеркивает преимущества «широкоугольного объектива», который включает в поле зрения как можно больше всего и не

исключает априори ничего» (с. 229), т.е. продуктивность сравнений и эмпирической работы за рамками дихотомии «социальный конструктивизм vs. универсализм». Кроме того, он справедливо отмечает неизбежность хаоса реальности, который «сильнее любого принципа упорядочения», поэтому «даже антропология эмоций то и дело колеблется между социальным конструктивизмом и универсализмом и многие представители этой науки считают, что она находится в ловушке между этими двумя полюсами, значит, дихотомическая схема неадекватна» (с. 240).

Третья глава — самая объемная часть книги (около 150 страниц), она описывает эссенциалистский полюс дискуссии об эмоциях, предлагая читателю «обзор изучения эмоций в экспериментальной психологии с конца XIX века с особенным вниманием к новейшим нейробиологическим исследованиям» (автор использует термин «науки о жизни» в качестве общего для психологии, физиологии, медицины и нейронауки в широком смысле слова) (с. 16). Хотя в предыдущих главах автор уже упоминал (в критическом ключе) теорию базовых эмоций Пола Экмана, здесь он подробно останавливается на ее основных компонентах: универсальные эмоции (радость, злость, отвращение, страх, грусть и удивление — набор и количество со временем менялись) испытывают и могут распознать в других люди всех культур, поскольку они выражаются не столько в языке, сколько в безошибочно опознаваемых (микро)выражениях лица («характерные универсальные сигналы»), которые никто не способен скрыть даже под социальной маской в угоду доминирующим нормам. Пристальное внимание к Экману автор объясняет тем, что его теория наглядно демонстрирует отличия естественнонаучной эпистемологии от социально-гуманитарной (Экман часто серьезно менял свои взгляды), активно осваивалась в социально-гуманитарных науках и стала результатом отхода от культурного релятивизма (все объясняется социальным научением) к универсализму в духе экспериментальной психологии (за что радикально критиковалась приверженцами культурного релятивизма, в частности Маргарет Мид) и в этом качестве «потерпела крах, точнее говоря, эмпирические доказательства ее гипотез очень слабы» (с. 257).

Поскольку глава получилась очень объемной, сразу после разбора теории Экмана автор прописывает ее схему в специальном разделе (с. 265—266): сначала речь идет о вкладе Чарльза Дарвина в психологию эмоций (социальные конструктивисты и универсалисты многократно пытались добиться прерогативы истолкования его книги «О выражении эмоций у человека и животных»), затем обозначены богословские истоки психологического изучения эмоций (первые физиологи и психологи эмоций, по сути, спорили с христианской теологией, отталкиваясь от нее в обосновании секуляризации и отделения чувств от воли), далее в хронологическом порядке представлены вехи на пути становления универсалистского подхода, в частности, работы Уильяма Джеймса (историзация эмоций и формула о «приоритете телесных симптомов перед воспринимаемой эмоцией»), Карла Ланге (также отделял эмоции от интенций, но отказался от «периферической» теории эмоций в пользу идеи эфферентно-афферентного «вазомоторного центра»

в мозге) и Вильгельма Вундта (в «Лекциях о душе человека и животных» провел различие между краткосрочными и сложными эмоциями и утверждал их субъективный характер и решающее значение для познания). Потом следуют параграфы о лабораторной практике, которая и конструировала концепции эмоций, преимущественно принижающие значение субъективных и языковых аспектов эмоций и демистифицирующие чувства (хотя в лабораторных условиях ученые сталкивались с массой неопределенностей, не разрешенных до сих пор), о влиянии социальных паттернов упорядочивания (стратификационные модели «наверху/власть/хозяин/рай»—«внизу/народ/рабы/ад» и «справа»—«слева») на пространственную концепцию мозга (соотношение разных структур мозга, представление о двух полушариях), о поиске места эмоций в головном мозге до изобретения нейровизуализации (три вехи — гипотеза Уолтера Кеннона и Филипа Барда, круг Джеймса Пейпеца и открытие лимбической системы Полом Мак-Лином) и об отсутствии теории эмоций у Фрейда (есть незавершенная и сложная теория «аффектов», более механистическая и биологистская, чем его позднейшие идеи о страхе и связи эмоций и культуры) — «хотя эмоции играют важнейшую роль в центральных областях психоаналитической мысли, теория чувств в нем отсутствует» (с. 316), что, впрочем, не мешает сегодня развитию нейропсихоанализа (в частности, разработана нейропсихоаналитическая модель любви).

Далее в центре внимания автора оказывается «эмоциональный бум» в психологии 1960-х годов (в частности, рассмотрены синтетическая когнитивно-физиологическая модель эмоций Стэнли Шехтера и Джерома Сингера и теория «оценки» Магды Арнольд) и бум нейронаук и методов визуализации в 1990-е годы благодаря «сказочной карьере функциональной магнитно-резонансной томографии мозга» (с. 334), наиболее частые эксперименты с использованием которой представлены сначала в формате нейтрального описания, а затем с критической точки зрения. По мнению автора, «суггестивная сила изображений головного мозга производила подлинно магический эффект, особенно за пределами области наук о жизни... Повсюду наблюдается беспрецедентное помрачение умов, заставляющее людей придавать цветовым пятнам на серых томограммах мозга прямо-таки метафизический смысл...» (с. 343). Особенно подробно критически рассмотрены три важнейших нейрологических эксперимента — два пути страха Джозефа Леду, гипотеза соматических маркеров Антонио Димасио и зеркальные нейроны Джакомо Ризцоллатти, Витторио Галлезе и Марко Якобони — и их применение в социально-гуманитарном знании, которое автор метафорически называет стоянием «на плечах карликов, или нейронауки — „троянским конем“ в гуманитарных и социальных науках» (с. 363).

Беспрецедентную популярность нейронаучных открытий автор объясняет рядом факторов, важнейшим из которых оказалось «успокаивающее действие, которое оказывала аура уверенности, излучаемая новым „якорем“ в виде психологии эмоций..., генетики или нейронаук... В отличие от культуры, природа может заключать в себе что-то необычайно успокаивающее... И для многих уверенность, внушаемая генами и нейронами, стала источником ответов на самые острые

вопросы, которыми они занимались на протяжении многих лет своей научной карьеры, повидав и „смерть автора“, и дискредитацию марксизма., и демонтаж классического психоанализа» (с. 367—368). Эту идею автор иллюстрирует «нейротрендами» в литературоведении, искусствознании и политологии, где, например, «за счет переноса центра внимания на тело и аффекты и ослабления когнитивной составляющей способность к самостоятельному действию, или агентность, приписывается широкому спектру организмов и даже неодушевленным предметам» (с. 378).

Завершает третью главу описание «рыхлой коалиции критических нейро-наук», которая объединяет нейрологов и представителей социально-гуманитарного знания, вышедших за рамки дихотомии «конструктивизм vs. универсализм». Главное требование автора к этой коалиции относится ко второй группе ученых — не делать смелые выводы из эффектных экспериментов, поскольку зачастую они сомнительны или даже полностью несостоятельны, т.е. «использовать заключения нейронаук можно только после основательного погружения в них... и надо с принципиальным скепсисом относиться к популяризаторам, которые обычно представляют одну-единственную гипотезу с гарниром в виде цитат из Декарта, Спинозы или Шекспира, упаковав это в форму книги, сделанной так, чтобы понравиться читателям, не знакомым с нейронаукой» (с. 391). Признавая наиболее продуктивным подход «поверх барьеров», автор показывает его возможности на примере трех тем, актуальных для представителей критической нейронауки: функциональная специализация участков мозга, нейропластичность мозга (он более не оплот неизменяемой природы, а культурный объект исторической изменчивости) и социальные нейроисследования, которые рассматривают взаимодействия индивидов (изучают эмоции в интересующих ситуациях).

Наконец, в четвертой главе автор «обрисовывает перспективные ареалы исторического изучения эмоций» (с. 17), хотя к каждому из них у него есть критические замечания, как правило, касающиеся слишком сильных выводов. Прежде всего, это концепция Уильяма Редди, который использовал выводы наук о жизни, когнитивной психологии, для анализа представлений о чести во Франции и противопоставил социальному конструктивизму историческую этнографию эмоций, т.е. «транспонировал оба полюса на теорию речевых актов, разработанную философом языка Джоном Остином»: универсализм сопоставим с констативом, социальный конструктивизм — с перформативом, а эмоциональные высказывания обладают свойствами того и другого (описывают состояние мира и стремятся на него повлиять) — это эмотивы (с. 409). «Ансамбль предписанных эмотивов вместе со связанными с ними ритуалами и другими символическими практиками — эмоциональный режим», который поддерживает каждый политический режим (с. 418). В зависимости от допускаемой степени эмоциональной свободы (строгие режимы с мощными инструментами контроля эмоций или нежесткие режимы с разнообразными наборами инструментов управления эмоциями) осуществляется «эмоциональная навигация — маневрирование между различными конфликтующими объектами, на которые ориентированы эмоции» (с. 419).

Далее в главе представлено развитие теории Редди в этноистории Моник Шеер, которая трактует тело как культурный и исторический феномен, «в социальном и экологическом контексте думающее вместе с мозгом» (с. 432), и предлагает анализировать это «знающее тело» с помощью понятия практик Бурдые. Шеер выделяет четыре вида эмоциональных практик: мобилизующие (например, ухаживание за предметом любви, искупление кающимся грешником своих прегрешений в некоторых католических культурах, употребление наркотиков в сочетании с музыкой и танцами), именующие (речь, письмо и безмолвное воспоминание), сообщающие (коммуникация) и регулирующие (открытые и скрытые указания об эмоциональных нормах). За этноисторической концепцией Шеер следует нейроистория медиевиста Дэниела Смэйла, который сделал предметом исторической науки то, что происходило задолго до изобретения письменности в Месопотамии, посредством обращения к структурам головного мозга, химическим веществам тела и «психотропным механизмам — изменяющим настроение практикам, способам поведения и институтам, порожденным человеческой культурой, но существующим не только у людей» (с. 445).

В конце главы автор называет несколько областей, в которых возможна продуктивная работа по изучению истории эмоций с учетом его предостережений (скептицизм и специальные знания в области нейронаук, отказ от навешивания ярлыка «эмоция» на любое действие, которое не удастся объяснить с помощью классической теории рационального выбора, отказ от разделения эмоций на положительные и отрицательные, базовые и синтетические, простые и сложносоставные), но предупреждает, что список этот не исчерпывающий: политическая история (публичное выражение эмоций в политической жизни, эмоциональное содержание политической лексики), экономическая история (катастрофические последствия и эмоциональные причины экономических крахов, эмоции разных профессиональных групп, история потребления), история права (эмоции как основа исков и законов), история средств массовой информации новейшего времени (воздействие медиа и кинематографа на аудиторию, медийные скандалы, выражение эмоций театральной публикой), устная история и эмоциональная саморефлексия историков.

Завершая поверхностный обзор замечательной научной работы (иным он быть не может, учитывая содержательную насыщенность текста), хочется отметить еще две отличительные черты книги. Во-первых, автор очень точен в оценках благодаря не только эрудированности, но и использованию множества метафорических конструкций — как собственных (книга фотографирует «ракету [взрывоопасное развитие истории эмоций] в фазе ускорения после запуска» и намечает контуры будущей «меблировки пространства истории эмоций»; заимствования из нейронаук в социально-гуманитарных дисциплинах — «попойки», за которыми наступит «ужасное похмелье»; с наступлением Просвещения «на трон был возведен разум, и потребовались жертвы — одной из них стало более строгое разделение между разумом и чувством»; социологическое исследование романтической любви превращается в «мастерскую вивисекцию этого феномена социологическим скальпелем»; в третьей главе автор «предостерегает Клио от беззаботных заимствований из экспериментальной психологии»; о том, насколько работа вписыва-

ется в «научный ландшафт», предлагает судить по тому, «содержатся ли в ней общедоступные кирпичи с высоким потенциалом вульгаризуемости, т.е. можно ли их заимствовать, не арендуя здание целиком»), так и одолжено-дополненных. Яркий пример последнего типа — высказывание Лоррен Дастон, что для преодоления антитезы «природа vs. культура» и «универсализм vs. социальный конструктивизм» представителям научных дисциплин в полном составе пришлось бы пройти через групповую психотерапию, т.е. проработать идейное наследие XIX века на кушетке психотерапевта: в книге автор «неоднократно предпринимал попытки как бы встать с кушетки, отворить окно и открыть вид на то, как будет выглядеть исследование эмоций после терапии» (с. 14). Для многих читателей автор открывает и «эмоциональную» составляющую классических концепций, например, утверждая, что Томас Гоббс «постоянно касался эмоций в своем творчестве... и описывал естественное состояние людей как страшное изживание чувств» (с. 37), а моральный философ Энтони Эшли-Купер, граф Шефтсбери, считал «чувства априори морально ценными, в том числе и стремление к счастью» (с. 39).

Вторая отличительная черта книги — постоянное подчеркивание автором ее незавершенного характера по причине невозможности охватить в одной работе весь накопленный по истории эмоций материал (автор презентует книгу как «навигационный прибор» и предлагает читателю дополнить его «обзор с высоты птичьего полета» и «написанный крупными мазками набросок» чтением цитируемой литературы, «чтобы вместо общих планов увидеть нюансы и детали», хотя избранная библиография занимает в книге 42 страницы), поэтому от книги «не следует ждать „тотальной“ историографии метаистории эмоций — такой, которая связала бы существующие несколько островков знания в один архипелаг и заполнила бы океаны между ними» (с. 19). Справедливо утверждая, что история эмоций сегодня переживает бум и «золотую лихорадку», автор претендует лишь на то, что «отделал квартиру истории эмоций в доме исторических наук, предметы мебели расставлены, пусть кто-то и хотел бы расставить их иначе и будут еще какие-то перестановки» (с. 484). В конце третьей главы он признается, что можно было по-другому рассказать историю исследований эмоций в области наук о жизни, выбрать другие эксперименты, имеющие непрямую, но важную связь с эмоциями, сосредоточиться на других науках, заимствующих концепции из нейронауки, и развенчать другие мифы, однако он все равно бы пришел к тому же вопросу — должна ли историческая наука заимствовать концепции из наук о жизни и как именно? (с. 405—406). Подобные уточнения встречаются по всему тексту с завидной регулярностью, что заставляет отказаться от критики отдельных утверждений и решений автора, которые выглядят несколько сомнительно с позиций иных, чем история эмоций, дисциплин (например, что социологи склонны ссылаться на монизм Спинозы, «когда хотят повысить ценность материального, ... и ценят в монизме то, что он позволяет рассматривать мыслительные процессы как телесные» (с. 35—36); что в библиографии визуальные исследования объединены с литературоведением, а не с социологией, и др.).

Книга Яна Плампера задает много вопросов (являются ли эмоции автоматизмом или для них значимы фантазия и воображение, как соотносятся тело

и эмоции в невербальных и речевых практиках, сколь различны эмоциональные составляющие оценок и суждений в разные исторические эпохи и в разных группах и т.д.), поиски ответов на которые важны не только для историков, но и для социологов, поскольку зачастую мы занимаемся не чем иным, как измерением эмоций (и счастья в первую очередь). Соответственно, и призыв автора к исторической науке можно обратить ко всем социально-гуманитарным дисциплинам, включая социологию — «оставаться как можно более открытыми и не обставлять себя никакими табу в отношениях с соседними дисциплинами» (с. 265).

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Гийому Ж.* Лингвистическая история концептуальных словоупотреблений, проверенная на опыте лингвистических событий // *История понятий, история дискурса, история менталитета* / Сб. статей под ред. Х.Э. Бёдекера. М., 2010.
- [2] *Зорин А.Л.* Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016.
- [3] Индекс счастья // <http://soc.fom.ru/obshchestvo/11037>.
- [4] *Копосов Н.Е.* Замкнутая вселенная символов: к истории лингвистической парадигмы // *Социологический журнал*. 1997. № 4.
- [5] *Луман Н.* Общество как социальная система. М., 2004.
- [6] Секрет счастья самых счастливых россиян // <http://fom.ru/blogs/11751>.
- [7] *Сонntag С.* О фотографии. М., 2013.
- [8] Счастье // <https://www.levada.ru/2017/12/26/17369>.
- [9] Счастье есть! Сколько счастливых людей в России, и что делает их счастливыми // <http://fom.ru/Тема-predlozhenia-polzovatelem/11028>.
- [10] Счастье и кризис: кому на Руси жить хорошо? // <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=296>.
- [11] *Троцук И.В.* Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных типов «чтения» слабоструктурированных данных. М., 2014.
- [12] Уровень счастья в России-2016 // <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115976>.
- [13] *Löfgren L.* Life as an autolinguistic phenomenon // *Autopoiesis: A Theory of Living Organization* / M. Zeleny (ed). N.Y., 1981.
- [14] *Veenhoven R.* Hedonism and happiness // *Journal of Happiness Studies*. 2003. No. 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2018-18-2-345-360

### CONCEPTUAL AND EMPIRICAL FINDINGS AND GAPS OF THE HISTORY OF EMOTIONS\*

**Review of the book: Plamper J. *Istorija emotsij*  
[The History of Emotions]. Per. s angl. K. Levinsona.  
Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2018. 568 p.**

---

\* © Trotsuk I.V., 2018.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. The project No. 18-011-00993 “Happiness as an interdisciplinary construct: variations of sociological conceptualization and operationalization”.